

Геннадий Васильев

# Ложная тревога

## Живая природа

### Дидактический рассказ

1.

— Шёл бы ты отсюда! — сказал мне дрозд, усевшись на фонарь рядом со скамейкой в моём любимом сквере.

Второй дрозд — как я потом понял, его подруга, дроздиха или как там их зовут, — уселся (уселась) на ветку дерева по соседству и укоризненно стал (стала) разглядывать меня сперва одним, потом вторым глазом.

— Шёл бы ты отсюда! — повторил тот, что сидел на фонаре.

— Это почему это? — спросил я ошарашенно.

Я не удивился, что птицы говорят со мной, такое случилось и раньше. Но я почему-то не удивился и тому, что их понимаю.

— У нас личный разговор, а ты нам мешаешь, — дрозд раздражённо клюнул фонарь.

— Так я всё равно не понимаю вашего языка, — слабо возразил я.

— Ну понимаешь ведь! — мне показалось, что дрозд улыбнулся.

А его подруга уж точно усмехнулась, издав металлический звук.

— Ну хорошо, — сказал я. — А что, перелететь в другое место вы не можете? Это моя любимая скамейка, я здесь по утрам всегда посиживаю. Думаю, сочиняю.

— В другом месте нас станут подслушивать другие птицы — воробьи там, трясогузки... вороны, сороки. А у нас — личный разговор, семейный. А сочинять ты можешь в любом месте.

Подруга снова подтвердила.

— Так что... шёл бы ты отсюда.

Я пожал плечами: что было делать? Пошёл.

В сквере, где я гуляю по утрам, дроздов много. То есть — было много. В последнее время их число заметно уменьшилось. Так же, как бывает у людей: по причине внешнего вмешательства, из соображений безопасности они решили сократить своё присутствие в этом уголке города. За счёт наращивания эскалации в другие районы. Где мы только не встречаем их теперь. А причиной передислокации стали человеческие благие намерения.

Сквер — много деревьев: ранеток, лип, вязов, растут хвойные — сосны и ели, много черёмухи Маака. Словом, всё растёт, всё процветает, по утрам я наблюдаю развитие природы во всех направлениях, доступных в условиях мегаполиса. Нюхаю яблони, жду, когда расцветёт рябина, радуюсь сосновым свечкам.

И, конечно, наблюдаю и слушаю птичек. Некоторых — только слушаю. Зяблик в ветках прячется, разглядеть его удаётся с трудом, надо тихонько к дереву подкрасться, долго искать его, поющего, среди иголок или листьев. Хотя в пору, когда на берёзах только оживают серёжки, эту птаху можно увидеть висящей вверх ногами или боком и азартно склёвывающей берёзовые дары природы. Тогда зяблику, конечно, не до песен. Сытое брюхо к изящному глухо. Но я хожу утрами там, где можно его и услышать, и увидеть.

Однако отвлёкся, переключился с крупных чернозобых дроздов на мелкую, хоть и голосистую, птаху. Люблю птичек.

В сквере есть ещё часть территории, почти обособленная, где деревьев мало, редкие ранетки, зато много травы, которую регулярно грамотно стригут. Там и резвились дрозды — бегали по траве, выискивали что-то и делились друг с другом находками. В прошедшем времени — потому что туда пришли люди. Они решили сделать благо: посадить много деревьев, чтобы тем, редким, стало веселее. И посадили. Дроздов это озадачило. Это нарушило привычный ход их жизни, навело на неприятные размышления. Поразмыслив хорошенько, они решили оставить здесь форпост, а основными частями перебраться в другие районы города и на всякий случай рассеяться.

...Я ушёл недалеко, завернул за ближайший куст барбариса — здесь эти кусты высокие и густые, — стал подслушивать.

— Значит, так, — помедлив и убедившись, что я скрылся, говорил дрозд дроздихе. — Значит, так. Пока вроде ничего плохого — ну, насадили деревьев, отняли у нас часть территории, но никто не пострадал, и бегать мы можем там, где бегали, и травки и жучков не ubyло. Что будем решать?

Та помолчала. Потом щёлкнула клювом — мне показалось, смачно сплюнула. И сказала вдруг

такое, отчего я чуть не выскочил из куста — хотел убедиться, что это всё-таки птица. Но не выскочил. — Ты в нашей малине масть держишь, тебе и вопрос решать.

Собеседник в ответ раздражённо щёлкнул клювом, как будто поморщился.

— Я знаю, что ты пару лет чалилась... то есть гнездилась в зоне, но, прошу тебя, оставь эту свою феню, жаргон свой.

Она издала звук, по-человечески похожий на смех. Я, кажется, скоро стану переводчиком с птичьего.

— Давай, начальник, не лепи горбатого. Не баклань. Решай.

Дрозд сплюнул — ну, я сам это слышал!

— Ладно. Значит, так. Возвращаем всю братву... тьфу ты! — всю стаю возвращаем обратно. Живём здесь. Здесь воздух нормальный и...

— И хавка от пуза! — добавила собеседница.

Дрозд снова сердито щёлкнул клювом.

— Ну как тебя от жаргона вылечить? Ладно, потели малину... тьфу ты! — стаю собирать.

Она засмеялась, щёлкая:

— Слово «малина» здесь неуместно! Ладно, научу тебя. У нас ещё будет время.

Они сорвались, коротко и часто взмахивая крыльями и металлически пощёлкивая — такой у них продолжался разговор.

Я обогнул куст. Меня слегка покачивало. Впечатление было то ещё.

Через неделю популяция дроздов в сквере не только вернулась к прежней, а заметно выросла.

## 2.

— Говоришь, травку подстригают грамотно? Ну-ну...

Я подпрыгнул от неожиданности. Одуванчик под ногой хихикнул восторженно и испуганно:

— Не наступи! Прыгаешь...

Я нагнулся.

— Ты со мной говоришь?

Он фыркнул, подбоченился — если бы не видел своими глазами, никогда не поверил бы: он и правда подбоченился, как в мультиках, согнув лепестки, как человек согнул бы руки. И — клянусь! — подмигнул мне.

— Ты думаешь, только птички разговаривать умеют? Ну-ну...

Я невольно протянул руку — он закрылся лепестком.

— Только рвать меня не надо, ладно? Я с тобой — по-человечески...

Круглое жёлтое морщинистое лицо его смотрело на меня из-за лепестка внимательно.

— Не стану, конечно. Просто хотел убедиться, что не сон.

— Ну вот, — оскорбился одуванчик, — с птичками он, значит, наяву общается, а мы, флора, — сон.

Я почувствовал вину.

— Ладно, не сердись. Просто не привык я, когда со мной говорят птицы ли, растения. Вот кошка ещё дома со мной заговорит человеческим языком — и можно меня на Курчатова.

Одуванчик засмеялся.

— Ну ты даёшь! По-твоему, мы человеческим языком овладели, чтобы ты нас понимать смог? Ну ты даёшь! Это просто ты нас научился понимать. Может, конечно, тебя и надо — на Курчатова, но по другой причине.

Он вдруг обернулся, крикнул громко:

— Ребята, подтягивайтесь! Не опасно. Поговорим.

И «ребята», одуванчики окрестные, как-то правда подтянулись. Не сходя с места. И я стоял в кругу одуванчиков. На мгновение стало даже не по себе: «Окружили!» Прогнал мысль: просто время такое... неспокойное. Военные реалии чудятся.

Я успокоился.

— Ладно. Чего от меня хотите-то?

Одуванчик опять подбоченился:

— Понимания. Ты помнишь, каким этот сквер был до прошлого года?

Я пожал плечами:

— А что, собственно, изменилось? Ну, качели вот поставили, деревьев ещё посадили. Плохо разве?

— Нет, не плохо. Но, кроме деревьев и кустов, — при слове «кусты» он как-то брезгливо сморщился, — здесь было настоящее поле из одуванчиков. А сейчас видишь, сколько нас осталось? — он обвёл вокруг листом — длинным, правым. — Видишь? Отчего это, как думаешь?

Я пожал плечами, не ответил.

— Эх! — одуванчик горестно закрыл лепестками голову. — Эх!.. Да ты ведь сам звонил в ведомство, которое за этим сквером ухаживает, умолял, чтобы не скашивали одуванчики, когда косят траву. Помнишь?

Я вспомнил. Да, так и было. Я, как обычно, совершал утреннюю прогулку по скверу, увидел косцов на специальных механизмах — они подравнивали траву, заодно скашивали и одуванчики. Я спросил телефон начальства, звонил, просил, даже — правда! — умолял. Говорил о красоте, об эстетике. Всё напрасно. Одуванчики тогда скосили. Но вот же они — возродились, снова жёлтые, радостные и — главное! — со мной говорят. В чём проблема-то? Я так и сказал вслух.

Одуванчик вздохнул.

— Ты видишь ту — прежнюю — поляну одуванчиков? Разве видишь? Как сказал один ваш человеческий бард, «нас осталось мало — мы да наша боль». Мы теперь расти боимся. Видишь — мы растём в основном там, где нас достать трудно: рядом с асфальтовой дорожкой, в густой тени елей, под их надёжным укрытием. Скажи: кому такая радость, чтобы мы прятались? Разве это создаёт

красоту? Разве это может радовать глаз? Да и на нас посмотри—мы же все напуганы.

Он обернулся к другим одуванчикам, махнул лепестком—они спрятали головы.

—Видишь? Это теперь нормальная реакция на присутствие человека.

Мне нечего было сказать. Молчал и он. Наконец поднял на меня своё жёлтое морщинистое лицо: — Расскажи людям. Когда вы думаете, что делаете добро,—вспомните не только о себе. Для нас ваше добро иногда оборачивается... ну, не злом, нет. Но большими трудностями. Вы живёте, а нам приходится выживать. Да и вам от нашего выживания потом пользы мало. Мы ведь начинаем вас бояться. Прячемся от вас. Доверять вам не можем. Законы дружбы нарушаются. Расскажешь?

Я обещал.

Вот, рассказываю.

## Ложная тревога

Позвонил старый друг из маленького городка.

—Привет! Я тут решил с жизнью покончить. Прощаюсь.

Я остановил пасьянс, который раскладывал на компьютере, прислушался к своему сердцу—ничего, вроде не трепыхается. Спросил в телефон: — Причина? Баба бросила? Сифилис? Рак в четвёртой стадии?

Друг вздохнул.

— Ну какой рак? Какой сифилис, когда с бабами уже год не спал? Другое. Важное.

— Так говори, чего ты воду мутишь? Прощаться—так прощайся уже по-человечески.

Я знал его тридцать с лишним лет. Он был большой шутник. На моей памяти он раза три «лазил в петлю», пару раз топился, несколько раз исчезал, оставляя записки: «Прошу никого не винить...»—столько же раз воскресал, возвращался, снова работал в своей сфере—очень хороший архитектор, его брали даже туда, в те конторы, откуда он внезапно исчезал,—и опять морочил голову друзьям.

— Нет, теперь серьёзно. Навсегда. Не вижу больше причины жить.

Я забеспокоился.

— Можешь меня подождать? Приеду, обсудим, разберёмся—может, отпустит. Откажешься, может.

Он чуть помедлил.

— Не откажусь. Но подождать могу,—и вдруг хихикнул в трубку невесело:—Для того и звоню. Одному страшно. Приезжай.

Я рванул. До маленького городка километров двести—я поехал напрямик, просёлочной дорогой, сократив примерно километров восемьдесят. Когда дорога позволяла—всё думал, вспоминал.

Он хороший, преданный друг, хоть и нелепый совсем. Для архитектора даже слишком нелепый.

Но эта нелепость его растормаживала, делала ремесло—творчеством. В маленьком городке, где полным ходом шла типовая застройка, блок-комнаты ставились на блок-комнаты и все дома потом становились серыми и скучными, он придумал раскрасить их, как детсадовские кубики, в разные цвета. И город заиграл. Он стал разноцветным и радостным.

Ещё он писал стихи. Дурацкие, совершенно графоманские, но смешные и, как город, праздничные.

А потом от него ушла жена. То есть ушёл, собственно, он, застав её буквально в постели с другим. Но не он, а она закатила ему скандал, умудрившись обставить дело так, что в её постели был массажист, которому нужно было «глубоко проникнуть в её проблемы». Он изумился, наградил её хорошей затрепиной, «массажиста» догнать не успел. Ушёл, сказав: «Квартира моя, ты помнишь? Вечером приду—чтобы духу твоего не было». Она запальчиво ответила вслед: «Он, может, хоть ребёнка мне сделал бы, а ты... импотент!»

Под импотенцией понималось бесплодие, но ей было всё равно. Природную глупость не выправило и высшее архитектурное, как у него, образование. Детей у них и правда не было, и это немного скрасило его переживания.

Вечером квартира оказалась пуста. Она сумела забрать с собой не только собственные вещи, но и часть его. Уехала к маме в Минусинск, попросила отвезти её того самого «массажиста». Он посмеялся. Стало легко и горько. Сходил в ближайший гастроном, купил, напился. Утром полегчало. Позвал друзей, вечером устроили вечеринку. Друзья говорили: «Ну, Костян, ты чего? Вы и прожили-то всего года три, не нажили ни детей, ни имущества, хорошо хоть квартира твоя—в чём проблема? Мало вокруг хороших баб? Найдёшь, и заживёте!» Он отмахивался, улыбался и только подливал себе.

Ночью, когда все разошлись, когда вот-вот утро, разослал эсэмэски: «Я в петле. Прощайте». Прибежали трое. Он открыл. «Может, допьём? Осталось...» Ему навалили. По-дружески, конечно, но с досадой.

Потом он внезапно исчез. Его не было почти три месяца. Потом подолгу и путано рассказывал, как ездил к старым приятелям в Питер, перенимал опыт, как у него там снесло крышу в самом метафорическом смысле, как глубокой ночью на плохо охраняемой стройке один лазил на башенный кран, залез на стрелу и хотел спрыгнуть, но ему помешали полицейские. Сняли и едва не отдали в психушку—питерские друзья вмешались, дали взятку и отмазали. Ну а потом навалили. Дали денег и отправили по назначению, в Сибирь.

Всё это время в городке его искали, даже лазили в квартиру, вскрыв балконную дверь. Он приехал и первым делом обзвонил всех с вопросом: «Какая сволочь сломала балконную дверь?» Собрались все

причастные. Синяков не оставляли — так, ткнули в бока по-дружески. Общаться после этого с ним стали осмотрительно, неохотно. В контору его приняли с условием, что это — в последний раз. Но и после этого раза случались и «петли», и записки «Прошу не винить...», и длительные исчезновения. И запой. Терпели. Талантлив.

Я из маленького городка переехал в большой, изредка перезванивались, иногда виделись — он приезжал к нам, мы с женой иногда ездили к нему. Чем дальше, тем реже случались встречи. Всё тяжелее становилось с ним говорить. Однажды моя жена взмолилась: «Всё, не могу больше! Хочешь — езди к нему один. Какой-то он стал... inferнальный!» И я перестал с ним встречаться по своей воле.

И вот — звонит: «Всё, навсегда!» Ну как могу не поехать? Ругался всю дорогу: «Сволочь, мерзавец, если опять подстава — убью, удавлю своими руками!»

Костя сидел, придавленный мыслями, в глубокой депрессии. Кивнул:

— Садись. Выпьём?

Я даже не удивился.

— Опять картину гонишь? Выпить не с кем?

— Нет, на этот раз не гоню. Сейчас с тобой попрощаюсь... У меня тут пистолетик припасён с давних времён, — он достал, передёрнул затвор, направил на меня.

Я попятился.

— Ты охренел совсем, Костян?

Он усмехнулся так, как усмеваются одержимые. — Фигня. Не бойся. Тебя-то за что? Давай лучше выпьём.

Он спрятал пистолет, достал фужеры, вынул открытую бутылку вина.

— Извини, я тут без тебя пригубил немного уже.

Разлил. Я спросил:

— А что вдвоём-то? Что ж не позвал больше никого?

Он снова усмехнулся.

— А никто больше не нужен. Ты мне самый близкий друг.

Я выпил. Вино оказалось на вкус подозрительно терпким. Я посмотрел этикетку — Испания, ординарное вино, столовое, средней паршивости. Он засмеялся:

— Боишься? Я же пью с тобой. Мне тебя-то зачем травить? Да и я... у меня — пистолетик. Давай ещё по одной.

Я пригубил, дальше не пошло.

— Ты стреляться когда намерен — ночью? Я сильных звуков ночью не выношу, они меня пугают, — я пытался шутить, но вечер был странный, шутки не удавались. Не проходили. И закуска застревала в горле.

— Да нет, не бойся. Я с тобой попрощаюсь. При тебе не стану.

Я взорвался:

— Костян, что случилось? Ты идиот? Что за разводки, что за идиотские сцены? Ты меня сорвал, я даже не успел жене толком объяснить — куда и на фига еду! Может, расскажешь, в чём дело-то? Мало тебя били за твои шутки — я ведь тоже могу двинуть!

Он кисло улыбнулся.

— Могу объяснить, но на это не хватит ни ночи, ни вина. Если кратко — жизнь не удалась. Наперекосья пошла. Из конторы выгнали, друзья отвернулись. Неудобный я очень. Не нужен никому. И тебе — вот видишь — помеха.

— Если так — звал-то зачем? — я кипел от негодования, готов был и правда ударить его. — Ну и стрелялся бы в одиночку! Мы бы погрустили потом коллективно. Чего тебе от меня надо?

Он усмехнулся опять как-то нехорошо, налил снова.

— Давай ещё по одной — скажу.

Я выпил. Вино не брало, опьянения не было, был только странный вкус серы во рту.

Он поставил фужер, улыбнулся. Убрал пустую бутылку.

— Ну вот и породнились. Теперь можешь уезжать. Ночевать здесь тебе не нужно.

Я смотрел на него оторопело:

— Не понял.

Он повертел фужер, понюхал его зачем-то.

— Ну, это не просто вино. Яд в нём. Сдохнем оба. Но до дома дотянешь.

Как я его ударил, теперь не вспомню. Я выскочил, сел в машину, рванул с места. В ближайшей аптеке купил всё, что препятствует отравлению, немедленно проглотил, запив минералкой. Меня тошнило, зрение не фокусировалось, дорога плыла перед глазами. Ехал кружным путём, чтобы не попасть на глаза гаишникам. Несколько раз оставался — мутило, но ничего извлечь из себя не получалось. Подъезжая к городу, попросил жену вызвать скорую.

Врач щупала меня, меряла давление, температуру, заставляла открывать рот. Смотрела с удивлением.

— Почему вы решили, что отравились? Никаких признаков. Ну, разве выпили. Может, вино плохое было?

Мы вежливо выпроводили её. Я кинулся к телефону. Костя ответил сразу:

— Жив? Надо же!

Я сказал всё, что думаю о нём и его покойной родине. Он только посмеивался в трубку.

— Рожу я тебе при следующей встрече разобью точно! — грозил я, и гнев во мне не утихал. — Вот сволочь! Сам жить не умеешь — другим-то дай!

— Даю, даю, — он вдруг заговорил тихо, серьёзно. — Пистолетик-то помнишь? Так я его выкинул. Утопил в речке. Ты когда уехал, я пошёл к речке

и утопил его. Вместе со всеми патронами. Так что не беспокойся. Я не застрелюсь. И другим жить дам. Спокойной ночи.

Он отключился. Я смотрел на трубку ошарашенно. Жена гладила меня по плечу:  
— Ну и ладно. Идиот — идиотом был, таким и останется. Пошли спать.

...Утром, едва я разлепил веки, жена принесла телефон. Сообщение было коротким: «Прости. Прощай». Я плюнул:

— Идиот!

А вечером позвонил старый приятель:  
— Костян помер. На дверной ручке удавился. Приедешь на похороны?